

18+

Рустик

ЗАПАХ СЛОВА

ИЗ КНИГИ «У СЛОВА ЗА ПАЗУХОЙ»

Рустик

**Запах слова. Из книги
«У Слова за пазухой»**

«Издательские решения»

Рустик

Запах слова. Из книги «У Слова за пазухой» / Рустик —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-643949-8

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Когда моя погоня за словом по запаху следов наконец
обрела форму книги, уже и с Предисловием, вспоминающим церковь у
слияния двух рек: Сутолоки, где воды по колено, и Белой, где сразу с головой,
— мне на память пришло изречение древних, что книги — суть реки, что
наполняют Вселенную, и я вдруг подумал, что, вот, теперь и моя Сутолока
несет туда свою каплю. Все проходит — слово остается: твое слово, о тебе
слово — слово правды, что весь мир перетянет. Книга содержит нецензурную
брань.

ISBN 978-5-00-643949-8

© Рустик
© Издательские решения

Содержание

Вступление	6
Рубашка,	7
Рубашка от Жванецкого	8
Сказка-быль	9
«К милосердным Коленам припав»	10
Координаты вдохновения	12
Парча Набокова	14
Хобби	15
Тайна золотой рыбки	16
Генералиссимусские муки суворовца	20
Одноклассницы	23
Бжик и джин	32
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Запах слова Из книги «У Слова за пазухой»

Рустик

Маме, учительнице русского языка и литературы

*От слова без ума я в лучшем из миров,
Всю жизнь за ним ходил по запаху следов.*

Дэрдменд.¹

© Рустик, 2024

ISBN 978-5-0064-3949-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Когда моя погоня за словом по запаху следов наконец обрела форму книги, уже и с Предисловием, вспоминающим церковь у слияния двух рек: Сутолоки, где воды по колено, и Белой, где сразу с головой, – мне на память пришло изречение древних, что книги – суть реки, что наполняют Вселенную, и я вдруг подумал, что, вот, теперь и моя Сутолока несет туда свою каплю.

Все проходит – слово остается: твое слово, о тебе слово – слово правды, что весь мир перетянет.

Рубашка, в которой я родился

Я так долго повторял себе: «Ты сам свой высший суд!» – что даже не заметил, когда на самом деле стал им, вернее – Им – с большой буквы.

А почему стал? – да потому что в рубашке родился. И ладно бы я один, а то ведь после меня в моей рубашке еще два брата родились. И рубашка, как мне теперь кажется, была не совсем моя – вернее, совсем не моя, а мамина – это наша мама в рубашке родилась, и потом уже перекраивала ее под каждого сына в свой черед.

Сам я эту рубашку не видел; братья о ней не вспоминают. А мама только улыбается и – чудится – той самой улыбкой, с какой она и перекраивала для нас свою рубашку.

Я думал, ближе этой рубашки к моему телу ничего не будет. Но явилась ты и с ходу забралась ко мне под рубашку, точно вместе со мной в ней и родилась, и тогда-то я и понял, что значит – заново родиться.

И с тех пор в двух рубашках, твоей и маминой, я и живу – сам себе Высший суд, хранящий в тайнике памяти еще и третью рубашку – Розину.

Рубашка от Жванецкого

Мое счастье – когда пишу, и не просто пишу, а когда мысль приходит со своей половинкой – неожиданной, эффектной половинкой, как будто я достал звезду с неба и как раз в тот миг, когда все небо в алмазах!..

Так вот: достать звезду – половинка счастья, а достать, когда небо в алмазах – это уже в рубашке родиться!

У Жванецкого таких рубашек целый гардероб, в смысле, библиотека, вернее, по-нынешнему, видео и фонотека, которые полностью уместятся во флешке размером в полмизинца.

Но ведь звучит – и как звучит!

Для меня он всегда был небожитель, каким и остался.

И, когда я чувствую презренье мира к моей безгардеробной нищете и небо мое покрывается сплошь непроглядными тучами, я слушаю его, Михаила Михайловича, и не просто ощущаю слуховые нити, какими он держит полный зал крепче, чем морскими канатами, но прямо вижу, как с миру по нитке, он ткет и шьет, и не одному, а сразу каждому нуждающемуся, и – главное – идеально по размеру!

И я как будто заново родился! И эта рубашка, от Жванецкого, вместе с моими тремя предыдущими – четвертая: приглядеться, уже и на гардероб похоже.

Когда Жванецкий надевает на меня свою рубашку, я чувствую себя так, как будто в его шкуре побывал – какой матерый человечище! До него настоящего еврея в русской литературе не было – свой в доску, как на Распятии, притом что ни разу распят не был, несмотря на то что всю жизнь делал, что хотел, но не забывая о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве, как завещал великий Чехов, чья рубашка ближе всего душе Жванецкого и не раз спасала ему шкуру, пока не дала бессмертие.

Сказка-быль

До недавнего времени мама читала мою (в принтерском виде) книгу, посвященную ей, с напрягом – говорила, сложно написано... как будто «Одиссея» – просто.

Братья вообще не читают – ни меня, ни Гомера, да и над остальными – не видел, чтобы напрягались.

И только обе старшие двоюродные сестры, каждая – профессор и доктор наук – проявили вынуждаемый мной интерес. Доктор филологии, прочитав начальные главы, сказала, что похоже на дневник сексуального маньяка. Я-то думал, что я в рубашке, а оказалось – голый, и это несмотря на то, что сестра сразу отказалась от, если и не остроумного, в данном случае, то точно острого, слова «маньяк», закруглив его «сексуальными похождениями героя». А тут доктор математики – сестра, что помладше – тоже читающая не спеша, да еще, как потом призналась, с боязнью, что придется врать, если не понравится, вдруг обрадовано сообщила, что увидела в тексте и мою улыбку, и мою корону². Но про рубашку на мне она тоже ничего не сказала, как будто ее там и нет, то есть, я остался голым, прикрытым только улыбкой, как короной остроумия.

И я понял, почему маме было сложно: моя книга не лезла ни в какие ворота мамино представление о литературе.

Со стороны, я, может быть, и не стал рвать на себе волосы, но, подсознательно, тянул за них, думаю, постоянно, как будто в них спасение. И не заметил, когда там замкнуло и задымил, как в невидимых очагах отечества, – я бросился на запах родины³ и провалился в бездну материнской утробы – мог утонуть, но воды во время отошли, и я вышел – сухой и в рубашке.

И, когда Интернет со скоростью света доставил маме главу о том, в чем меня мать родила, мама от удивления аж рот раскрыла: оказывается, она рассказывала мне, первенцу, о своей рубашке, из которой кроила рубашки нам, сыновьям – точь-в-точь как ее мама, наша бабушка, кроила в свое время ей самой, еще не рожденной, чтобы она потом никогда не сомневалась, что в рубашке родилась.

Услышав такое, я онемел – лишился дара речи: прямо у меня на глазах моя выдумка о рубашке, от слова до слова, рожденная вдохновением голая фантазия, сказка, со скоростью света сделалась былью.

И теперь мама читает эту сказку-быль наизусть – читает себе, читает по ВатсАппу (WhatsApp) мне, читает всем и каждому, кто навещает ее, – и на лице у нее улыбка коронованной особы, готовой одеть в рубашку сына весь свет! – ведь как просто.

² См. гл. «Одноклассницы».

³ См. гл. «Родина».

«К милосердным Коленам припав»

*И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав...*

И. А. Бунин.

В то время как оба моих младших брата-орла уже увязли коготком отцовства в сиропе семейной жизни, я, с рыльцем в пушку Розиной заботы, от женитьбы только нос воротил.

А братья, с голубками-женами, гнездились в родной родительской семье, где, как только вылупились первые птенцы, семей сразу стало в три раза больше! И теперь орлам-отцам не летать, а носом землю рыть приходилось, чтобы принести в клюве коробку заветного Птичьего молока, только бы у запеленатого птенчика все было в шоколаде.

И ведь было – все в шоколаде и было, притом что подгузников тогда не было, а день и ночь стирать пеленки – у-у-у! – уж лучше землю носом рыть. И, когда вконец рассиропившиеся братья падали со своего орлиного шестого этажа на наш с Розой первый, в соседнем доме, им обоим ничего высокого уже не хотелось, как только сунуть рыльце в пушок человеческих слабостей.

Это было на второе лето моей работы грузчиком на кабельном заводе. Я приносил столько денег, что клюв мой гнулся, точно я нес все золото моих будущих побед.

Кстати, за год до этого, предыдущим летом, самый младший брат, боксер, принес золота тоже на всю оставшуюся жизнь, победив на Всесоюзном первенстве, притом мало того, что как раз к рождению дочери, но именно тогда его клюв и согнулся по орлиному, чтобы больше уже не гнуться ни перед какими трудностями.

И средний брат, хотя на тот момент и не мог похвастать ни клювом, ни когтями, зато размах крыльев имел боевой, перышко к перышку собранный еще во время службы в десантных войсках, где прыгают не с парашютом, а «С Богом!» – который Один на всех, и нет запасного, и, если Бог не раскрылся, десант остается на небесах. Над братом раскрылся, и с тех пор для него все золото мира – пыль рядом с теми высокими днями под куполом Бога.

Накануне того дня в начале июля, который здесь вспоминаю, я принес, сверх зарплаты, еще и премию за первое полугодие – премия оказалась такой, что я глазам не поверил: что называется, шары на лоб полезли.

Братья упали прямо к столу и, как всегда, без парашюта, но зато в «шоколаде», который, правда, был, мягко говоря, несъедобен, но юмор брата-десантника таким куполом накрывал всю компанию, что даже детскую кашку превращал в праздничное блюдо, – мы, давась смехом, только облизывались, пока наш юморист, без тени улыбки, собирал с каждого лба по два шара восторга, как будто у него не юмор, а бильярд.

Кто первым произнес слово «бильярд», сейчас, по прошествии стольких лет, уже трудно установить, но методом исключения можно попробовать.

Это точно была не Роза: при всей своей любви к хореографии, танцы вокруг бильярдного стола с палкой в руке вместо партнера не вдохновляли ее настолько, что у нее в лексиконе, помнится, и слова такого не было.

Брат-боксер, привыкший дубасить по чужим мозгам, сам, по уму, всегда тяготел к шахматам, что и доказал на пике жизни, став, прямо скажем, шахом созданной им Федерацией шахбоксинга России. Так что, вряд ли, слово «бильярд» – его слово.

И не мое: тренируясь рядом с братом-чемпионом, будущим, как оказалось, шахом, а по шахматному, королем, я, если и чувствовал себя пешкой бокса, то только проходной.

А тут – бильярд, который стоял в клубе у десантников, и никто не задумывался, сколько он стоит. И вдруг через много лет в магазине «Спорттовары» брат увидел знакомый до слез стол, и его накрыло куполом таких чувств, точно он снова встретил своего крылатого Бога. Но беспощадный своей недоступностью ценник на нем вмиг порвал иллюзию в клочья, и брат никогда не вспоминал тот случай.

Я сказал тогда про премию, никак не соотнося это с бильярдом, а просто чтобы снять напряжение момента, и назвал размер премии. Братья не поверили, но каждый по-своему: вернее, самый младший – по-моему, то есть, с полезшими на лоб шарами, а десантник свое неведение выразил взглядом безбожника, готового на любое безумство, при этом будто выматерился, озвучивая цену бильярда, от которой (от цены) не мог не обезуметь уже и я, потому что суммы там и там чуть ли не до рубля сходились.

И мы, три орла безумия, тут же из-за стола полетели, как никогда не летали, как будто нам надо было не бильярд покупать, а нашего орлиного Бога спасти.

И мы вынесли Его из sklepa магазина и на поднятых над головой руках понесли к трамвайной остановке. Прохожие, завидев нас, круглили глаза, уступали дорогу, кто-то улыбался, кто-то крутил пальцем у виска, а любопытные, в основном, мальчишки, шли следом, желая, видимо, знать, куда несут такую красоту, о которой они и мечтать не смеют.

В вагоне электрички, достаточно просторном, после трамвая, мальчишек уже не было, но зрителей, впервые видящих такую транспортировку бильярдного стола, пусть и со снятыми ножками, хватало, и смотрели они на нас не как на жрецов со священным грузом, а как на инопланетян, сбежавших из дурдома. Только было непонятно, зачем эти психи бильярд с собой прихватили?!

Наш дачный домик, со вторым, и для нас, главным, этажом – потому что только там и можно было поставить настоящий бильярд, и то лишь после того, как спустить оттуда все вниз – так вот, наш домик стоял на самом высоком конце садового кооператива, как будто изначально построенный отцом (вместе со старшими сыновьями, разумеется, и остальной родней) построенный для святилища.

Дорога от станции до нас, понятно, все время шла в гору – сначала по деревне, потом через сады, где в выходной (а это был выходной) садовников было больше, чем фруктовых деревьев. И нас видели все – как мы несем наше знамя на вершину Победы.

И мама до сих пор помнит неземной размер бильярдного стола и как мы, ее орлы, выставив целиком сдвоенную раму широкого окна на втором этаже, идеально уместили там своего спасенного Бога-орла.

Координаты вдохновения

1. От «Джоконды» до «Черного квадрата»

Несмотря на всю лунность фонового пейзажа, «Джоконда», как картина, вся земная – как правда, как красота; в их обтекаемости, как в капсуле капли (в той самой – из Сутолоки⁴), душа и спасается от черного квадрата жизни – без правды, без красоты – один лунатически неодолимый самообман, пронзающий все излучины души по-черному, до экстаза!

Но ведь тоже спасает, черт!!.

2. Соглядатаи

Бунин, как звезда изящной словесности, зачаровано глядя на ночную синюю черноту неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых,⁵ с чувством затаенной грусти говорит: «Приглядишься – не облака плывут – луна плывет, и близ нее, вместе с ней, льется золотая слеза звезды», – то есть, его, Бунина, слеза – и как же много она говорит, если приглядеться к ее через всю жизнь не высыхающему блестящему следу.

А Набокову, без утайки признающему себя соглядатаем, просто «приглядеться» – мало: ему надо, наперекор жрецам и звездам, еще и «подсмотреть», как лепесток каштана, запах на собственное отражение в воде⁶, кончает очарованное соединение полным соитием, как и не мечталось даже самому мифическому Нарциссу!..

И я сам запал на тот лепесток. И с тех пор, в каком бы квадрате моей, казалось бы, не координированной, жизни я не находился, благословенное Набоковым масло загорается каждый раз, сокращая наполовину мой путь к вдохновению, как к кубу священной Каабы, где в экстазе по-черному впадаешь в белую горячку катарсиса, как самый короткий путь от порока до праведности, в чье игольное ушко пролез-таки Малевич на горбу своего Черного квадрата.

Однако ни Бунин, ни Набоков, врозь, не сговариваясь, каждый одним взглядом своим переворачивающий мир, причем в противоположные стороны, не признали путь Малевича путем, как будто он на чужом горбу хотел въехать в их рай, на который еще надо горбатиться и горбатиться, прежде чем увидеть там небо в алмазах.

Но щит Черного квадрата отразил огонь уничтожающих взглядов и остался висеть на стене чудес мировой истории, как память, что неисповедимы пути наивысшие.

3. Вера

Джоконда – как Земля, ждущая Бога; а лунный пейзаж у нее за спиной – как нереальность этих ожиданий, что подтверждается ее угасающей улыбкой, чье мерцание еще заметно на глянце непревзойденного, неземного мастерства Леонарда, где невидим ни единый мазок – только сияние правды и красоты, как будто Бог, в самом деле, уже побывал здесь.

⁴ См. Вступление.

⁵ См. рассказ «Смарагд» в книге «Темные аллеи».

⁶ См. книгу «Другие берега», глава двенадцатая, подглавок 4.

И тут же, контрапунктом, как «из князи в грязи», вспоминается размалеванный Малевичем по-черному квадрат – ни сияния, ни красоты, ни правды – но какая вера! – что земля поймет, а мир умоется!..

4. «Если Христос не с истиной...»

«Если Христос не с истиной – я с Христом», – в тумане беспутства повторяю я себе известную мысль, зная, что Христос пойдет на Распятие, чтобы не распяли меня.

И это жизнь. Это путь. Это истина.

Парча Набокова

Если смотреть на писательский труд как на собирание с миру по нитке, то парчовая, по мнению Набокова, проза Бунина никак не просилась на рубашку, а прямо-таки напрашивалась на Нобелевскую медаль, которая, и в самом деле, зазолотилась на парче, как родная.

И ничто не предвещало миру, что стареющий лауреат, точно забыв о своем высшем звании и держась только за нить голого таланта, сошьет рубашку для души, и спрячет ее в своих «Темных аллеях».

И с тех пор под их сенью кто только не обломал в восторге веток! – один Набоков как будто наломал дров, так и не сбросив парчу предубеждения с единственной нити, что могла связать их.

Хобби

*Пришел к своим, и свои Его не приняли.
От Иоанна, 1. 11.*

– Это твоё хобби, – дал в своё время определение моему не приносящему доходов писательству самый младший брат, как будто я, в самом деле голый, собираю с миру по нитке себе на рубашку.

А то, что мы все трое уже в рубашке родились, он в расчёт не брал – и не берет: ему в броне своих побед и так, как в танке.

Но главное, рядом с ним мама, как в танке, перед которым все её болезни отступают.

И тут на поле больничной битвы, накрывая его куполом тишины, опускается, витающая до сих пор в облаках, внучка – дочь сына-десантника.

И, когда это танково-десантное воинство победно улыбается мне через экран смартфона – этого гениально зрячего свидетеля любой битвы – я готов снять с себя последнюю рубашку, лишь бы оказаться, пусть и не в самом танке, но хотя бы на облачке над ним.

– Это твоя игрушка, – на днях, как бы невольно уточняя давнишний приговор брата, поставила, как доктор, свой диагноз моим миниатюрам сестра-филолог.

А сестра доктор математики, совершенно отдельно, назвала мои занятия «упражнением». И я в самом деле почувствовал себя в известной клинике, где непредсказуемый пациент разбивает о мою голову стул, а я, глядя на ошарашенных докторов-сестер, только улыбаюсь – ведь никто не знает, что я в «танке»! – думают – «хобби», «игрушка», «упражнение»...

P. S. Литература – мой «танк», и сколько бы жизнь не разбивала стульев о мою голову, темнеть в глазах всё равно будет у жизни, а собирать разбитое всё равно буду я!

Тайна золотой рыбки

Если человек родился с чувством, что смотреть на женщину – праздник, значит он – мужчина. Я родился мужчиной. Правда, узнал я об этом, естественно, не сразу, а лет в пять – за год, примерно, до того, как увидел ее, мою первую страсть, совершенно, казалось бы, детскую по возрасту, но абсолютно взрослую по тому празднику, что остался в душе на всю жизнь.

У Бунина в «Темных аллеях» есть рассказ «Начало», где двенадцатилетний гимназист впервые не то что вкушает, как мужчина, запретный плод, а вдруг чувствует себя самцом, чье звериное чутье уже вышло охотиться на тропу страсти.

Так вот я, получается, вышел на эту тропу, по возрасту, чуть раньше гимназиста. Кому хочется улыбнуться, напомним слова Толстого, который, уже будучи в львиной славе, говорил: «От меня нынешнего до меня пятилетнего – один шаг».

Это произошло в спальне родителей. Она была маминой младшей, еще незамужней, двоюродной сестрой, то есть моей столь же юродной теткой. Но тогда я во все это, разумеется, не вникал. Я видел ее впервые, и мой глазной хрусталик, как я теперь понимаю, вспыхнул на нее, а попросту говоря, тетка понравилась мальчонке. И мне хотелось смотреть и смотреть на нее, но только украдкой, не выдавая себя.

И вдруг я, в какой-то момент потеряв ее из виду, заглядываю в спальню и вижу на краешке широкой кровати поверх не расправленной постели, одетая, лежа на правом боку лицом ко мне, спит она, сморенная, очевидно, ранним подъемом и не близким путем. Ее оголенные колени были сомкнуты, а сложенные ладошка к ладошке руки были всунуты между бедер вместе с краем юбки. Только зверь мог почуять здесь зов плоти – и я почуял. Я испугался, что она проснется, и убежал. Но зов-то остался. И я осторожно, чувствуя, что совершаю запретное, заглянул в спальню опять: мои (ну, в смысле, ее, но все равно – мои) сложенные ладошки так и были всунуты между ее бедер.

Вот с тех ладошек я и начался, несмотря на то что спящая красавица так и продолжала спать сном мертвой царевны.

В последний год перед школой меня отправили в садик. Там я и увидел Лиду.

Мои ладошки, как братья-близнецы, сами тянулись к ней, но тайно, боясь коснуться ее, потому что она смотрелась так, точно ее охраняют, и ладно бы только семь, а то все тридцать три богатыря, да еще с ними дядька Черномор, в смысле, тетка, в лице воспитательницы. И страх сжимал сердце и руки опускались. Смотреть на Лиду было мучением, особенно когда она спала в тихий час, через две кровати от меня, всегда укрытая и спиной ко мне.

Однажды, когда готовились к такому сну, мои безумные руки улучили момент и обняли ее.

– Иа-а-а!! – завизжала она, словно зовя прозевавших меня богатырей-охранников.

Я испуганно отскочил и оказался в лапах подросшей черноморши-воспитательницы.

– Иа-а-а! – хоть и тише, но смысл был тот же, завизжала и она, точно я в самом деле обманул охрану и совершил преступление.

А я-то, наоборот, совершил подвиг: «Иа-а-а!!!» – ликовал я про себя.

Но Лида не поняла моего геройства, точно я был нарушитель устоев и должен был вначале, первым делом, выслать вперед сватов, и уж потом сам броситься грудью на амбразуру. (То-то был бы подвиг – по трупам сватов в бессмертие).

Но, несмотря на то что я остался жив и чувствовал себя героем, я все равно испугался – я увидел, что по-мальчишески незащищен перед ее богатырским непониманием. Мне оставалось только прикинуться ее тридцать четвертым телохранителем – но куда было девать мои непослушные ладошки?!

Так и проходил я до конца садика, держась от Лиды на расстоянии вытянутой руки.

В школе мы оказались в одном классе. Я не видел ее целое лето, и ладошки мои сразу зачесались. В первый день мне очень хотелось попасть за одну парту с ней, но нас рассадили по разным рядам.

И с тех пор, в каком бы положении я не находился в классе – сидел, стоял, двигался – я не просто бросал взгляды на нее, но я прямо-таки забрасывал, как невод, глазную сетчатку, и не ради какого-то мелкого улова, как ее затылок с двумя косичками, ухо, щека, профиль носа с крутым лбом, а в отчаянной надежде, хоть раз поймать на себе золотую рыбку ее взгляда. Но, сколько я не браконьерничал в ее заповедных водах, на берег каждый раз вытаскивал одно разбитое корыто.

И в таком состоянии я не заметил ни дня Страны – 7-е ноября, ни дня встречи Нового Года, точно эти праздники накрылись для меня, что называется, медным тазиком, ну, в моем случае, и не медным, а деревянным, да и не тазиком, а тем самым корытом.

И я забросил невод, нет, не как в прошлые разы браконьером, а наоборот – вплоть до того, что даже смотал удочки с безрыбьего места. Тогда я еще не понимал, что, как не сматывайся, рыбалка не кончится, потому что я сам на крючке золотой рыбки.

А ведь был еще водоворот учебного процесса, где к тому времени каждый, кто не успевал схватиться за спасательный круг подсказки, тонул прямо у нас на глазах. И только я и Лида блистали правильными ответами, как чешуей, и чувствовали себя, как рыба в воде. И одна владычица морская, ну, в смысле, владычица в море знаний, наша учительница Антонина Сергеевна, могла лишить нас с Лидой обоюдного рыбьего счастья и утопить, как котят.

Но, невзирая на это, даже она была не в силах отменить золотую рыбалку, чьих особенностей, и не столько национальных, сколько без- или меж-национальных, не заметить она не могла. И, видимо, не один я мутил под самым ее носом, и владычица наконец решила всех возмутителей ее спокойствия разом вывести на чистую воду. И какой день для этого выбрала – 23-е февраля – день Армии, день мужчин! – который после того события в моем первом классе затмевает поныне для меня все остальные праздники в году.

Мальчики, как и было велено нам накануне, пришли в белых свежевыглаженных рубашках, а девочки – в белых фартучках и с нарядными бантами. И сама Антонина Сергеевна имела торжественный вид, по которому сразу чувствовалось, что это и она, двадцать лет тому назад, будучи юной медсестрой в военном госпитале, добывала нам, еще не родившимся, Великую Победу. Двадцать лет! – для нас это была неизмеримость, другой мир, как и та Победа, такая же мучительно неосязаемая, точно жар-птица из любимой сказки.

– А теперь девочки поздравят мальчиков – будущих воинов, наших будущих защитников! – вдруг загадочным голосом проговорила Антонина Сергеевна.

Девочки встали, каждая с подарком, и замерли в нерешительности.

– Ну-же, – подбодрила владычица, – пусть каждая поздравит того, кого видит своим защитником... Мальчики, встаньте!

Мы послушно встали. И внезапно, тесня друг друга, девочки заставили мою парту своими дарами. Глаза мои разбежались: тут была и с блестящим пером чернильная ручка в виде сосульки, точно такая, как у владычицы, и чернильница с откидывающейся крышкой, точно люк танка, и наборы цветных карандашей, и яркая открытка, и черный пистолет, и альбомы для рисования, и даже толстый альбом для фотографий.

Нет, разумеется, я не помню так подробно весь перечень – это уже жар-птица воображения воспламеняет головешки памяти. И в свете этого огня я вижу, что владычица ожглась со своим, как ей казалось, экспериментом чистой воды и только еще больше намутила.

И вот я стою у своей парты, последней в ряду, а рядом стоит моя первая учительница и раздает мальчишкам мои подарки, включая толстый альбом для фотографий, какой мне еще никогда не дарили. В общем, как кошки на сердце не скребли, а все, на что я положил глаз, утопили, как слепых котят. При этом я, своим безмолвием и напускным равнодушием, сам же и помогал топить.

А Лида? – как же Лида?.. А никак – среди моих дароносиц ее не было – она спокойно, без толчеи, вручила свой подарок самому маленькому и тихому в классе, и не столько, понятно, делая его своим тридцать четвертым телохранителем, сколько демонстрируя, что теперь его тело охраняемо ее защитой.

Но только не этим тогда было занято все внимание класса.

Не успел мальчик, получивший толстый альбом, сесть на место, как его догнала одно-классница, вырвала альбом и понесла обратно ко мне.

– Таня! – всплеснула руками Антонина Сергеевна и приняла бунтарку в свои педагогические объятия, где и убедила, вернее, уговорила ее, что самый тяжелый подарок нужно вернуть самому большому в классе.

Надо заметить, что родители того мальчика были неприметными тружениками, в то время как Танина мама заведовала аптекой. Так что, в итоге, педагогический дар владычицы сгармонизировал всю ситуацию, и на 8-е Марта девочек распределили между мальчиками заранее. Но ни Лида, ни Таня мне не достались.

Таня была мила, вплоть до фамилии – Милешкина. И ее не надо было ловить – поплавок ее взгляда всегда был готов подмигнуть мне. Ее доступность манила, как сомкнутые колени спящей красавицы в царском хрустале моей памяти, и ладошки чесались, но я не распускал руки – их укорачивал страх наткнуться на режущий визг «Иа-а-а!!», то есть, Лидины богатыри, незримо, сами о том не ведая, защищали и Таню.

Ох, уж эта Лида! Все в ней было на месте, от Бога, как зернышко к зернышку в колосе. И фамилия – не поверишь – Колосова. В общем, не только ее взгляд, вся она была золотая, злаковая – вся для дела, на все время. А Таня была злая – для пира, потехи, на час, но в тот час вдребезги разбивался хрустальный гроб и оживала царевна, и не на время – на все времена!

Мой триумф 23-го февраля все-таки прогнал невидимых охранников Лиды, и я наконец-то свободно смог оказаться с ней за одной партой, и пусть это было лишь на перемене, зато не просто на большой, а на полной перемене наших отношений. Так я чувствовал.

Помню, она начала показывать гибкость каждого своего пальца и всей пятерни, и левой, и правой – гибкость была неестественная, цирковая – я был поражен. Мы тут же стали пробовать на гибкость мои пальцы и ладошки, но, рядом с ее чудом, мои оказались разбитым корытом.

Лучше бы она резала меня своим «Иа-а-а!!» – чем вот так, походя, даже не замечая, топить меня в моих собственных глазах.

Но Танин поплавок всегда оказывался рядом, и я инстинктивно, как за соломинку, хватался за него, и выходил сухим из воды, как князь к царевне-лебеди. Но обнять ее, Таню, я решился только в четвертом классе. Она пригласила меня к себе домой, и мы были одни – мы могли делать все, что хотим, – это был пир наших желаний. Но я видел, что мы оба хотим только одного. И я, поймав удобный момент, все равно неудобно обнял ее и потянулся губами, чтобы ткнуться в ее щечку, но она вдруг испуганно отстранилась, покрываясь совершенно неожиданно густо-пунцовой краской стыда – я еще не видел, чтобы так краснели, и почувствовал, что сам краснею. И потеха не состоялась – краска спугнула зверя.

Но только он, зверь, вернулся – хотя и пришел с другой стороны.

К тому времени у нас в классе появился новичок – в учебе слепой котенок, а по другим замашкам, не то что князь, но «коронованный», хотя бы и авторитетом собственного воображения. И вот потихоньку этот, в кавычках, авторитет начал устанавливать свои правила: дескать, я в законе, и вы все должны быть в моем законе. Телом он был крепок, да и самого большого быстро сделал своим. И если раньше беспрекословным капитаном нашей команды (футбольной, хоккейной, гандбольной) был я, то теперь и он принялся командовать на поле. Так мы с ним и бегали – два капитана одной команды. И в классе каждый сидел на своем троне: я княжил больше во время урока, а он авторитетничал на переменах.

Самый большой обычно был рядом с ним.

То, что они оба, неизбежно, как и я, тоже болтались на золотом крючке Лидиных чар, я понял гораздо позже. (Да и кто не болтается на таком крючке, что глотается так легко, а вырывается потом, ладно бы только с губой, а то с самим сердцем?! Но тогда об этом я тоже не думал.)

Я знал только одно: золотая рыбка – это моя тайна, и пусть золотая рыбка еще не исполнила ни одного моего желания, но тайна от этого становилась лишь сокровенней.

И вдруг меня дергают, и не за губу – сразу за сердце, и не Лида, а эти два браконьера – дергают вместе с моей тайной, и тянут в свои сети. И я не столько понимаю, сколько чувствую, что, если затянут, я, вместо золотой рыбки, буду у них на посылках.

И я заговорил с ними их языком:

– Да плевать мне на вашу Лиду!.. Что вы тут мутите?! – и при них ударил ее по щеке, чтобы уже ни у кого не было никаких сомнений.

Лида заплакала, ничего не понимая, а браконьеры тут же смотали удочки.

Меня, разумеется, все осудили, начиная от нашей классной руководительницы и кончая самым тихим в классе.

Мама моя тоже ничего не могла понять – как я посмел поднять руку на девочку – на такую девочку?!

Если бы мама тогда узнала, что там была не рука, а разбитое корыто, которым я мог убить, и не Лиду, а самого себя, мама в тот же миг первым подвернувшимся «Иа-а-а!» зарезала бы тех обоих, по малолетству, еще даже не браконьеров, что вырвали сердце ее сыну вместе с тайной золотой рыбки.

Генералиссимусские муки суворовца

Артиллерия – бог войны, верил Сталин, – и музы, громче пушек, грохотали об этом, но в страхе немели, лишь только понимали, что больше, чем в пушечную сталь, Сталин верит в пушечное мясо.

Жуков верил Сталину – они оба, генералиссимус и его маршал, не могли не быть единовверцами. Однако в мясной лавке Мнемозины, где каждого разбирают по косточкам, один тянет, как злодей, а другой – как герой.

Возможно, перетянуть музу памяти на сторону маршала помогла его книга «Воспоминания и размышления», изданная спустя четверть века после войны.

Во всяком случае, для меня, тогдашнего семиклассника, книга эта сыграла пушечную роль и через полтора года так выстрелила, что я, подобно барону Мюнхгаузену, верхом на пушечном ядре попавшему на Луну, попал в Суворовское училище – далеко-далеко от родного дома. Не знаю, как быстро летел барон, но вряд ли быстрее, чем я, за каких-то полчаса сдавший оба вступительных экзамена, что были положены круглым (чтоб не сказать, ядреным) отличникам, в отличие от остальных, которые сдавали четыре экзамена, причем на каждый всем без разбора отводился, как минимум, один день.

Я мог бы радоваться, как тот библейский верблюд, что пролезет сквозь игольное ушко прямо в рай, но не экзамены были для меня непроходимым ушком, а мое собственное ухо с забытой детской трещинкой на перепонке. В родном городе, благодаря папе, предварительная медицинская комиссия закрыла глаза на мой ушной дефект. Но здесь папы не было, и никто, кроме меня самого, не мог доказывать, что я не верблюд... или, то есть, наоборот, что я именно тот самый верблюд...

В общем на следующий день я обходил врачей, как лунатик, которому никогда не видать луны. Отоларинголог посмотрел одно мое ухо, другое, попросил зачем-то экзаменационный лист – глянул в него, и опять полез в ухо, как будто искал иголку в стоге сена; наконец, взял ручку и двумя решительными росчерками что-то вывел своим нечитаемым почерком на моей медицинской карточке, и молча протянул мне ее вместе с экзаменационным листом.

Я вышел в коридор и уставился на написанное непроходным врачом: «барон Мюнхгаузен» вспыхнули его каракули в соломенном мозгу лунатика! – и только после того, как проморгался, я различил, что не «барон», а «годен» и рядом ядерная роспись, с большой буквой, похожей на «М».

Это был сон, как и накануне сном был экзамен по русскому языку, сразу после математики. Ведь я оказался у кабинета, где отличники сдавали этот предмет, без всякой мысли, случайно, когда оттуда вышел с самодовольной улыбкой на тонких хитрых губах такой же, как я, ядреный. Еще двое, помимо меня, обступили его, и он четко, не размазывая, поведал, какие были вопросы и что он отвечал. Меня поразила его прямо-таки верблюжья снисходительность к тому, очевидно, не по библейски широкому, ушку, сквозь которое он только что так легко пролез, а я-то знал, как предательски могут торчать далеко не верблюжьи уши моей грамматики. И я, тут же без спроса оседлав чужие подкованные ответы, вломился в дверь кабинета, где все повторилось по вышесказанному – до слова.

И продолжением сна был генерал, начальник училища, со звездой на левой груди, который на личной аудиенции пожал руку и объявил меня суворовцем...

И тут пришел колченогий прапорщик и, зычным голосом проорав: «Рота, подъем!» – разбудил, не то что бы меня, а чувство одиночества во мне, особенно пронзительное, когда я вставал в общий строй. И я понял, что полет закончен и теперь надо ползать. И мне сразу

захотелось обратно, на Землю, на родную землю, где еще не остыла пушка, что салютовала в честь моей лунной победы.

Не знаю, как вернулся назад болтун Мюнхгаузен, – скорей всего, *свалился* с Луны или, точнее, с *луны* свалился. Но я-то не мог свалиться на голову папе и маме – уже перед одними младшими братьями (четырнадцать и девяти лет) позора не обобрался бы. Было понятно, что если уж ползать, то лучше здесь – с Земли хотя бы не видно.

И я заползал, сбивая колени и локти, заползал, не щадя живота своего, только бы не свалиться... только бы не свалиться... При этом я, как и все вновь зачисленные, с утра уже был облачен в рабочую спецодежду и запряжен в какую-нибудь работу на необъятной территории училища. И мимо нас прогуливались те, кто еще продолжал сдавать экзамены, и они с завистью смотрели на нас, как на отмучившихся, – идиоты.

Правда, не всем было жестко, как мне, не все набивали себе синяки и ссадины, – наоборот, большинство точно родилось в чешуе повиновения, и они чувствовали себя в роте, как рыба в воде. А я незаметно слюнявил свои ежедневные раны и мечтал о земле, о своей среде обитания.

И вдруг мне говорят:

– Тебя на КПП ждет мама! – имея в виду контрольно-пропускной пункт училища.

Я бросаюсь к старшему по работам и от него, не чуя ног, несусь к КПП. «Земля!.. Земля!..» – ликует душа, как у пережившего девятый вал моряка. Вбегаю – мамы нет! – дежурный офицер говорит, что, наверное, в скверике напротив. Выхожу на улицу на дрожащих ногах и сразу вижу, как, через перекресток, с ближайшей скамейки на углу скверика вскакивает мама, очевидно, без отрыва следившая за входом, и быстро, переходя дорогу, идет ко мне, улыбаясь и плача одновременно.

Я сам готов был смеяться и рыдать от счастья, и ждал, что мама сейчас возьмет меня за руку, подведет к дежурному офицеру и скажет своим непререкаемым голосом учительницы, что она приехала, чтобы забрать меня домой. Но вместо этого мама, как робкая ученица, попросила разрешения посидеть нам в скверике. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног... но провалиться в глазах мамы, тем более в роли счастливого суворовца, я не мог, и продолжил играть, несмотря на то что на мне даже формы суворовской не было.

Когда мы распрощались, я шел, а по сути, полз, в роту, все время уговаривая себя, что я герой... да что там – четырежды герой! маршал Победы!.. еще какой Победы!..

Стало ясно, что теперь в Суворовском мне делать больше уже нечего, потому что становиться генералиссимусом, не то что как Сталин, но даже как сам Суворов, я и не собирался. Я был заряжен на Жукова (чтоб не сказать, самим Жуковым), и всё его и получил. Однако, после мамы, пробовать раскрыть свою военную тайну еще кому-то было бы не только не разумно, но и опасно – мало ли за кого меня могли принять. И я снова прикинулся счастливым суворовцем – и пополз, и пополз, и пополз, как будто искал иголку, что не нашел отоларинголог и на кончике которой таилась смерть суворовца – смерть, как списание – списание с Луны на Землю – все лучше, чем самому свалиться, в смысле, «свалить», как дезертир. Маршал-дезертир! – нет, так переступить через себя я не мог – звезды мои посыпались бы, и небо надо мной потускнело бы до конца моих дней.

На первые каникулы, на Новый год, я прибыл домой с таким табелем успеваемости, да еще с припиской майора, нашего комвзвода⁷: «Поведение крайне негативное», – что папа и мама уставились на меня так, точно я в самом деле с луны свалился... А если я не чувствую

⁷ Командир взвода в Суворовском училище исполняет и функции, если брать по школьному, классного руководителя.

землю под ногами – это, что, я виноват?! – виноват, что из-за этого я все время проваливаюсь, то в учебе, то в поведении?!

Только внутренний, маршальский, голос говорил, что виноват и что, если уж не «свалил» в первом учебном полугодии, то во втором, не то что ползать, летать должен – звезды-то светят – и какие звезды!

А тут еще в феврале отмечалось тридцатилетие Сталинградской битвы. И я встал с колен, как встают в атаку, и не с пустыми руками, а со вновь перечитываемой тогда ядерной книгой Жукова, и заряженный, как и он, только на победу. Тем более что я оказался в одном взводе с волгоградцем, то есть, по-военному, сталинградцем, чьим скрытым должником я себя чувствовал со времени вступительного экзамена по русскому языку – это его ответами я расплатился за свой золотой экзаменационный лист, на который потом купился отоларинголог.

Но на данный момент мне был нужен золотой табель успеваемости в самой большой, третьей, учебной четверти, решающей, как Сталинградская битва. И я смотрел, как мой скрытый сталинградец, ни на кого не глядя, в одиночку, каждый день подымается в атаку на курган науки, и я незримо вставал рядом с ним, потому что иного пути до нужного нам обоим табельного золота не было.

Где ты теперь, соратник юных суворовских лет? – игольное ушко счастья таким же ли осталось для тебя широким, как в день нашего знакомства – таким широким, что тогда в него мы с тобой аж вдвоем пролезли?!

Но и другая игла, со смертью на конце, все-таки нашлась на меня-суворовца.

У продажного отоларинголога кишка оказалась тонка, чтобы разделаться со мной в самом начале, или, может быть, в трещинку на перепонке он увидел будущего героя вечного Сталинграда?!

Только терапевту было все равно. Он перстами, как будто их у него было не пять, а по шесть на каждой руке, нащупал у меня на животе точку боли и, точно читая мои мысли, многозначительно произнес:

– Двенадцатиперстная...

Я ничего не понял, потому что в медицине к тому моменту я разбирался лишь в одних ушах. Это уже чуть позже я узнал, что так называется кишка, куда ранят героев во время мозгового штурма.

В итоге день Победы я встретил в военном госпитале. Я уже знал, что со своей открывшейся язвенной болезнью я не годен для обучения в Суворовском училище и буду комиссован. И это была, действительно, победа – моя победа, о которой не должен был знать никто.

И вдруг тень «благодетельного» отоларинголога, что глубже всех заглянул в мой мозг и однажды уже спас его для вооруженных сил, снова нависла надо мной, только на этот раз в лице командира роты, прошедшего, что называется, и Крым и Рим, подполковника. Он сразу признался, что такой же язвенник, как и я, и ничего – служит, и, если бы его не завалили при штурме Академии, он стал бы уже генералом. А вот я, оказывается, буду генералом, и это не один он – все так говорят, и я должен остаться в роте, где у меня будет индивидуальный режим – без утренней зарядки, без уроков физкультуры, без хождения в наряды и на все другие работы – только учеба, только учеба...

Он не говорил – он через уши вползал в мой мозг, вползал, как единоведец, да что там, как сам бог – бог войны! – и я, от его «божественных» речей с ужасом чувствуя, что становлюсь пушечным мясом, не выдержал и, не помня себя, заорал-завизжал-завопил:

– Нет! Нет!! Не-э-э-эт!!!

Подполковник онемел – я сам испугался своего крика больше, чем он... но, за кем победа, теперь и без слов было ясно обоим.

Одноклассницы

Мир, то есть вся наша действительность: свет, тьма, земля, вода, небо, растения, животные, человек, – по теологии – фантазия Господа. И самое лучшее, что мы можем сделать – именно сделать, своими руками, умом, душой – это предельно приблизиться к Его фантазии, то есть, другими словами, к нашей действительности, к собственным судьбам – не знаю ничего, ни до, ни после Потопа, фантастичнее этого приближения.

1

Коготок увяз – всей птичке пропасть...

Ходил бы себе тихими стопами своей дорогой, ан нет, меня заносит на дороги Христа. И я легче тени скольжу по водной глади своего воображения, и чувствую, как вода

недомыслия становится вином замысла. И я наполняю им чашу сердца того, кто верит. Наш разговор будто бы односторонний – говорю один я, но я вижу, как мое вино терпко пронзает «все души твоей излучины», и за вуалью лет нам с тобой открывается очарованный берег юности. Сколько ж там перелито из пустого в порожнее, но, Боже, как это пьянило! – ни с каким вином не сравнить – от одного воспоминания голова кружится.

Помню: казалось бы, просто идешь, болтая, с одноклассницей, а на самом деле скользишь по зыби своей само собой льющейся трепотни ни о чем и в то же время обо всем, и держит тебя на поверхности потока вера в собственную непотопляемость, хотя одноклассница уже тонет и смотрит на тебя русалочьим взглядом, как на владыку морского, у кого сама золотая рыбка на посылках.

Одноклассницу звали Валя. Я не видел в ней особенной глубины, но ее взгляд так погружал меня в аквариум ее чувств, что я забывал и про глубину, и про золотую рыбку.

На уроках, когда она сидела одна, я подсаживался к ней и прижимал к ее колену свое. В первый раз это было для меня подвигом, все равно что лечь грудью на амбразуру. Но я лег, точнее будет сказать, упал – упал, как я думал в тот миг, не только в своих собственных, но и в ее глазах, одним словом, погиб. Когда сознание вернулось ко мне, я понял, что живой, и прежде всего по тому, что моя жаркая ладонь осторожно, как сапер, что ошибается лишь раз в жизни, палец за пальцем, начиная с мизинца, начала перебираться с моего колена на ее. Я понял, что свихнулся, что лучше было бы погибнуть, но пальцы не слушались меня и, как истинно бесстрашные воины-пластуны, ползли и ползли к только им одной ведомой цели, потому что их целью было не ее холодное сквозь капрон колготок колено, как можно было предположить вначале, а, как минимум, наполовину оголенное под модной короткой юбочкой ее бедро, что доверчиво жалось к моему, как к чему-то спасительному. А тем временем моя пятерня осьминогом безумия подползала уже к тонкому краю юбочки и, казалось, капрон начал плавиться под приближающимся дыханием адского пламени. Но на самом краю, на последнем краешке, ладонь ее благоразумия с неистовой силой придавила мое расплзающееся осьминожье, и мы оба замерли в каком-то блаженном смятении, точно внезапно вернулись из фантастически умопомрачительного путешествия и не можем поверить, что мы опять в своем классе, на все том же, до сих пор продолжающемся, обычном уроке.

Повторное, уже после перемены, на следующем уроке, путешествие под ее партой (которая, кстати, в отличие от нынешних открытых, как палуба яхты, школьных столов, идеально годилась для таких скрытых путешествий, точно подводная лодка) так вот, путешествие, повторюсь я, поначалу казалось не столь гибельным, как первое, но ближе к аду прозрачный капрон все равно начал плавиться, и Валя резко своей ладонью

придавила мою, точно закрывая появившуюся там дыру в колготках, и я почувствовал, как проваливаюсь в эту дыру, а Валя все давит и давит, давит и да-а-а-а!.. И это оказалось глубоко.

Но тогда я даже не сообразил, насколько глубоко. Тогда я вообще полагал, что все у нас с ней не по-настоящему, что она, Валя, не золотая рыбка, и все, что мне нужно от нее, это дырка в колготках на исподе бедра за краем юбки, где светлеет ее беззащитно оголенное тело. Это была такая игра, и я не то что не собирался, а просто был не в состоянии тонуть вместе с ней по-настоящему – в игре-то. Да она ничего и не требовала, а только посматривала своим русалочьим взглядом, что каждый раз возводил меня на незримый трон нашего, если уж и не подводного, то хотя бы (с ударением на «а» – да простится мне такое слово) подпартового царства.

А рыбка-то золотая была здесь же, в том же десятом «б», куда я пришел новичком первого сентября. И с самого того дня у меня было чувство, что все девять предыдущих лет класс только и ждал моего появления, включая и классную руководительницу, «математичку» Фаину Яковлевну, которая первая и утонула в приливе моего еще не забродившего, не винного, обаяния. Одна Таня, как посторонняя (да еще с прической боготворимой тогда в Союзе французской певицы, что делало ее, Таню, уже вообще потусторонней) скользила по мне безразличным взглядом, не то что не думая тонуть, а даже просто намочить золотые плавники своего равнодушия.

Я сразу почувствовал в ней единоверца – равную себе. Но только она-то об этом не знала, и я мучительно искал и прикидывал способы, как донести ей мои чувства, не уронив при этом своей короны. К моим мучениям добавилась еще и ревность, потому что другой одноклассник, Хорьков, пользовался ее вниманием, вплоть до того, что они как-то одним теплым сентябрьским выходным днем в компании выезжали на природу с ночевкой в палатке. А что это такое, ночевка в палатке, я знал еще по прошлогоднему лету, когда в кромешном мраке этой брезентовой коробки я, а вернее будет сказать, моя рука до предела удовлетворила свое неумное любопытство на теле моей поощрительно сопротивлявшейся сверстницы, на которую утром я глаз поднять не мог, так мне было стыдно за нас обоих. И это – больше года тому назад. А сейчас, когда мы уже в выпускном классе, я мог себе представить, что творится сейчас в потной тьме под сим шатром интима.

Я украдкой смотрел на Танины руки, на губы, а во мне звучало: «Расскажи мне, сколько ты ласкала – сколько помнишь рук ты, сколько губ?» Но больше всего меня терзало – «выпита» ли она другим? – и не в физиологическом смысле, а в духовном: остался ее дух при ней или она уже отдала его другому? Вопрос о духе был не то что выше физиологии, а как-то само собой подразумевалось, что если дух при тебе, значит ты цел и неприкосновенный, а в случае с Таней, цела и неприкосновенная. И значит мы равные и может состояться наше единоверие, причем без рук – в нашей палатке веры телу вообще не было места. Но перед глазами все время маячила довольная физиономия Хорькова, точно он только что выпил и у него сегодня праздник. Но откуда вино, я-то знал. Хотя их взаимоотношения в классе были обычными, как у всех, и из школы они редко уходили вместе, но глазки-то хорьковские все равно всегда блестели таким золотом, словно там отражались плавники моей рыбки. А взглянуть так же прямо и откровенно ей самой в глаза я не решался – было страшно увидеть там пьяную рожу Хорька. И что тогда мне оставалось бы делать – застрелиться было нечем – топиться? – мне, владыке морскому?!

И глаза мои сами находили Валу, и она как раз оказывалась одна за своей партой, и я нырял к ней, в наше подпартовое царство. И было такое чувство, будто я вернулся с чужбины, с войны, и Валиных светлых до прозрачности «волос стеклянный дым» был «сладок и приятен», как дым отечества.

Но в классе были волосы еще прозрачней, чем у Вали, хоть и разглядел я это не сразу.

Звали ее Наташа. Мимо ее чувственных губ и спортивной стати пройти было невозможно – но я проходил, несмотря на то что в разрез своим броским внешним данным она еще была и отличницей, почти круглой. Однако я, сам в недавнем прошлом «круглый», смотрел на все ее достоинства без всякого чувства.

Но в октябре все переменялось, и это было следствием двух последовавших друг за другом событий. Причем второе, может быть, и не случилось бы, если бы не первое – Таня из нашего математического класса неожиданно перешла в химический, десятый «а». Я был оглушен, когда узнал: у меня было такое чувство, как будто мне, походя и даже не заметив, дали по затылку и сбили с головы корону. Рыбка уплыла и унесла не только свое, но и мое золото, и наплевать ей было на мои глубины. «Ну, и мне наплевать!» – и я только крепче прижался к моей русалке, в чьем аквариуме я чувствовал себя, как рыба в воде, в смысле, «клёво» (на крючке этого не литературного словечка «зависала» тогда вся молодежь).

И здесь я должен вспомнить нашу учительницу по литературе Ольгу Юрьевну, весьма влиятельную в школе даму и очень строгую, особенно к девочкам. И вот она организовала школьный вечер поэзии, посвященный дню рождения Есенина, – стихи читали только девочки, но мальчиков обязали присутствовать. Мы послушно явились, поскольку все, как один, висели на крючке будущего аттестата, и не без скрытой улыбки смотрели, как девочки старших классов (причем Тани среди них не было) вертят хвостом перед ОЮ, точно перед настоящей владычицей морскою, которая среди них должна выбрать золотую рыбку. В общем ничего интересного тут не наклевывалось.

На не высокую сцену одна за другой поднимались чтицы; мы смиренно слушали, потом дежурно хлопали в ладоши – выступившая не очень умело кланялась и уходила. Стихи Есенина, разумеется, не имели никакого отношения к нашему мальчишески-солидарному равнодушию. И не то что мы не верили нашим девочкам, а, скорей, они сами себе не верили – им совсем не хотелось, как это было в стихах, ни жалеть, ни звать, ни плакать, потому что ничего еще в их жизни не прошло, тем более «как с белых яблонь дым» (к слову сказать, не простой дым, а тот, что согревает цветущий сад в весеннее похолодание и оставляет после себя не только спасенную красоту, но и надежду на будущий урожай – одним словом, дым Отечества, хотя тогда я об этом и не думал).

Валя среди других тоже вильнула своим русалочьим хвостом, но поднятая ею волна нежности, по-моему, еле докатилась до одного меня.

Все терпеливо ждали окончания вечера.

Но вот на сцену поднялась Наташа – белая кожа, белые волосы, прозрачные глаза:

– Шаганэ ты моя, Шаганэ! – вдруг решительно произнесла она это необъезженное в наших северных раздольях темное женское имя – произнесла и в волнении склонила лицо, как будто собираясь с духом.

Я невольно напрягся, точно на меня накинули лассо неведомого, но ласкового чувства. И мир мгновенно преобразился, и уже не Наташа, а сама трепетная душа Есенина, тоскуя в лунном Ширазе от разлуки с девушкой с севера, объяснялась в любви мне, южной Шаганэ, только потому что я «страшно похожа» на ту поэтическую северянку. Но не на ее пальце памяти, а на моем остался навязанный ржаной есенинский локон, что в тот же вечер выщвел и стал совершенно похож на Наташин. И я смотрел на этот воображаемый локон и видел не Есенина, не Наташу, а мою Шаганэ, страшно похожую на Наташу.

Но Наташа была занята – самым высоким парнем из нашего класса, к тому же еще и барабанщиком в школьном вокально-инструментальном ансамбле. И хотя на тот момент между ними были какие-то нелады и барабанщик после уроков уходил из школы с другой, из параллельного класса, я все равно не решался открыто, как к «моей Шаганэ», подойти к Наташе. При всей светлости ее внешнего облика, в ней чувствовалась скрытая тень Ширазы с его неумоли-

мым законом женской верности к однажды избравшему ее мужчине. И чистота этого чувства уносила Наташу в лунную высь, и только хотелось Есенинским криком кричать ей вслед:

– Шаганэ ты моя, Шаганэ!..

Вот в таком над (или под) любовном треугольнике – Таня, Валя, Наташа – и билось мое неумное сердце вплоть до новогоднего школьного вечера. Хотя треугольник мог увеличиться и до четырехугольника. В классе еще была Гуля, как мы все ее звали, а ее полное имя было Гульнара. Красавица с темными глазами, нежно-смуглой кожей, с черной косой – при виде ее Есенин уже торчал бы в Ширазе. А я и так оттуда не вылезал – мне хватало одной недоступной, самим Есениным и подаренной.

2

Ожидание любви – основное состояние человека. И даже если ты женат по взаимной любви, ты все равно каждый день ждешь подтверждения вашей взаимности, и это негасимое ожидание и есть огонь твоей жизни.

А если ты в выпускном классе, да еще накануне Нового года, то ты уже и не знаешь, куда деваться от ожогов ожидания. Но вот наконец в спортзале вспыхивает огнями надежды огромная елка и под живой аккомпанемент родного вокально-инструментального ансамбля начинается чудо, когда надо действовать, а не рассуждать, ведь чудо все равно не объяснить...

Я увидел Таню среди подруг – она смотрела на меня так, как никогда не смотрела, так, как будто только и ждала, когда я увижу ее: она смотрела так, точно возвращала мне украденное ею золото, что жгло ей руки, сердце, душу, и она уже не знала, куда деваться от ожогов, – но вот он, то есть я, спаситель, явился... И я, как зачарованный, подошел и предложил ей пойти потанцевать, ничуть не сомневаясь, что она пойдет. И она, сама зачарованная, пошла, и в танце прижалась ко мне, точнёхонько ожог к ожогу, как мне могло только лишь грезиться в чистом пламени ожидания. Я онемел; молчала и она, словно извиняясь за свое нечаянное волшебство. И я, уже ничего не соображая, путался в дурманящей густоте ее волос и тыкался слипшимися губами в ее оголенную шею, точно глупый цыпленок, что не знает, как склевать свое первое золотое зернышко.

Но, как бы мы не молчали, всем, кто видел нас, было и так очевидно золото наших с Таней отношений. Я понял это на следующий день, вечером тридцать первого декабря, когда у меня дома, не сговариваясь, собралась половина класса встречать Новый год, хотя я никому не говорил, что родители уехали. И Валя пришла.

А голова моя еще до появления одноклассников и без того уже шла кругом. Я мечтал провести эту ночь только с Таней. Но она раньше всех, первой выкинула новогодний фокус, и ассистировали ей две ее самых верных подружки: Таня зачем-то выпила вина, и не где-нибудь, а у одной из этих подружек, моей одноклассницы, что жила в одном со мной подъезде, только этажом ниже. Вино было домашнее, пилось, как сладкая вода. А когда Тане стало плохо, ее подняли ко мне, как будто подружки знали, что я превращаю не только воду в вино, но и наоборот.

– Я люблю тебя! – точно прощаясь, молвила моя рыбка со дна бокала, лишь только увидела меня.

Подружки в ужасе распахнули глаза, точно с их кумира посыпалось все золото. Я сам растерялся, не зная, то ли собирать золото, то ли спасти рыбку? Но, похоже, подружкам было не до золота – они повели Таню в ванную, ближе к воде. А когда она еще поспала часа два в родительской спальне, то глазки ее заблестели по-прежнему, как будто она не просто вышла сухой из воды, а не виновной из вина. И только подружки да я знали, из пены чьих усилий вышла наша Афродита.

Когда стали приходиться первые одноклассники, я догадался, что тут не обошлось без подружек, которые исчезали на какое-то время. Но когда пришла еще и Валя, я уже не знал, что и думать, а главное, сразу стало тесно в моей до этого просторной квартире: куда ни повернись, всюду была Валя.

И я вздохнул с облегчением, когда мы все высыпали во двор, чтоб идти на центральную площадь и там под бой курантов встретить Новый год. Но, как оказалось, вздохнул я зря – на улице мне стало еще тесней: Таня взяла меня под руку слева, а Валя тут же подхватила справа. Что было делать? Водная гладь моего воображения на какой-то миг перекрылась Сциллой и Харибдой растерянности, и я сразу онемел, а я, немой, уже был не я, и этот «не я» тонул, но не ужас был на его лице, а идиотичное выражение блаженства.

– Ты хочешь идти с Вале́й? – улучив момент, спросила Таня, как будто я действительно был идиот, который не чувствует ни огня, ни ожога.

– Я хочу с тобой! – дернулся я, точно мне прижгли открытую рану, но только все равно мой немой «не я» продолжал блаженно улыбаться, идиот!

Хотя, как посмотреть, кто идиот. Я уже был сам не свой от захвативших меня чувств, и мне уже не нужны были ни центральная площадь, ни даже Новый год – я сам себя чувствовал Дедом Морозом, что заколдовал всех и заморозил все ожоги, какие бы у кого ни были. Таня терлась о мой бок нежней Снегурочки. Валя куда-то запропастилась, точно ее, позабытую и незащищенную, послали за подснежниками. Зато появилась Гуля – Гульнара, «царевна Ширази», и, словно от вида ее южной красоты под замороженной высоченной елкой возле длинных ледяных горок, где мы все уже успели накататься и накувыркаться, нам захотелось в тепло, в уют.

И мы гурьбой повалили обратно, но до моего дома не дошли, а возле родной школы ввалились в подъезд высокого старого дома необычной планировки. Подъезд был техническим, одноэтажным, и в нем была только одна жилая квартира, как раз нашего одноклассника, но зато фойе было на удивление просторным, с большим окном с широченным подоконником. Лампочка не горела, и ночной полусвет через окно таинственно освещал фойе, как первобытную пещеру.

Мы с Таней тихо примостились на подоконнике, а в центре у квадратной колонны, что подпирала потолок, не спешно журчал общий разговор, и про нас с Таней как будто забыли. И мы впервые за весь вечер почувствовали себя в уединении. И я, как во время танца у школьной елки, уткнулся в Танины душистые волосы и стал нежно-нежно, уже со знанием дела, точно касаясь пером жар-птицы, целовать ее шею. Казалось, никто не видит наш сказочный танец на подоконнике под невыдуманную мелодию голосов у колонны. Но вдруг (для меня, вдруг – хотя, может быть, она давно уже там стояла) рядом оказалась Гуля – она стояла и смотрела так, как будто не Таня, а она сама танцует со мной на счастливом подоконнике. Я не то что сделал вид, что ничего не заметил, а просто отнес все к колдовскому воздуху нашего случайного новогоднего приюта.

Чары Нового года пали внезапно, в последний день зимних каникул, от одного слова, сказанного мне моим одноклассником, родители которого учительствовали в нашей школе.

– Ты всеещестаней? – проговорил он так, точно я на глазах у всех неловко обронил корону.

Я услышал это, как глас народа – разве я мог обмануть их ожидания?!

– Что с тобой? – удивилась Таня, вечером, когда я проводил ее до дома и уже знал, что чудо кончилось.

– Ничего, – поправил я на голове воображаемую корону и спокойно пошел домой.

Но беспокойство не заставило себя ждать и пришло с неожиданной стороны.

Еще продолжалась зима, когда однажды Гуля прямо в классе возле своей парты, с внезапностью шпионки, сунула мне конверт, который я тут же инстинктивно спрятал в карман, и, пришибленным, больше, чем только что была сама псевдо-Татьяна, псевдо-Онегиным поплелся домой. Мне не хотелось читать это письмо, тем более отвечать на него, но мальчишеское любопытство взяло вверх. Письмо было на полных два листа, четыре страницы, и только что не зарифмованное, таким оно оказалось вдохновенным и дышало тем еще не забытым головокружительным воздухом, в котором только и могла томящаяся душа Снегурочки из Шираза, не помня себя, танцевать на подоконнике самолюбия владыки. Мне таких слов до этого даже не говорили, не то что писали, а вот, оказывается, какой я. И я испугался – себя такого, сидящего в Гулином воображении. А уж как испугался самой Гули, как будто меня бритым невольником уже везут в Шираз. Кстати, волосы тогда у меня были длиннющие, до плеч, и я дорожил ими, как непобедимый Самсон. А тут хотели лишить меня моей силы. И я сделал вид, что натянул на голову шапку-ушанку и крепко завязал ее под подбородком так, чтобы не только спрятать волосы, но и заткнуть уши. Так и ходил перед Гулей остолопом, точно ее письмо не дошло до адресата.

Тем временем Таня, по-настоящему отвергнутая мной Татьяна, как по писаному, нашла себе «толстого генерала», и пусть он был наружно маленький и щупленький ее одноклассник, но зато сын настоящего полковника на генеральской должности. Когда я увидел их вместе, до меня наконец-то дошло, что шапка остолопа и есть моя настоящая корона. И, ох, какой же тяжелой оказалась эта шапка, а тут еще весна на мою голову. Мозги плавилась в беспомощности, и я, уже не соображая, что делаю, через верную подружку (ту, что была моей соседкой) вызвал Таню на школьное крыльцо, где готов был бросить к ее ногам не просто шапку-корону, а все царство моего безумия. Ан не вышло по-моему – она не только не вышла сама, но даже подружку не вернула. У меня было такое чувство, как будто меня, не снимая шапки, наголо обрили.

Не знаю, успел ли кто-нибудь разглядеть наготу моих чувств, но я быстро напялил парик равнодушия, в котором через два месяца и явился на наш выпускной бал. «Толстый генерал» уже давно получил отставку. За это время я видел Таню с другим ее одноклассником, таким же, как я, новичком в школе, но никак не в обращении с девушками. Но Таня и его отставила. А тут в разгар бала, в полночь, когда карета мечты превращается в тыкву разочарований, я, выйдя во двор школы отдышаться, вдруг увидел Таню, и не в белом выпускном наряде, в котором она была, а уже успевшую переодеться, и как мне померещилось, в самые лохмотья замарашки-Золушки, но главное, вместе с ней был какой-то незнакомец. От неожиданности я тряхнул своими искусственными волосами, как настоящими, и, глазом не моргнув, прошел мимо. Все было ясно, как день: зачем Золушке бальное платье, когда ее принц и так рядом!

Но это было еще не все. После полуночи школьный бал высыпал на улицу – Золушку я больше не видел, а мы все, скопом и рядами, пошли гулять по ночному городу. Уже светало, когда мы дошли до набережной и среди нас остались только самые стойкие, те, кто до конца продолжал верить в сказочность этой ночи и несмотря ни на что ждал своей счастливой кареты. Но солнце взошло безжалостной тыквой и раздавило наши последние надежды.

Крутой пешеходной тропой, что намного сокращала путь, я поднялся с берега к своему дому и, не дойдя до подъезда, остолбенел так, что аж мои искусственные волосы встали дыбом – там на скамейке в своем белом наряде, точно готовая для начала бала, сидела Таня. Никаких особенных слов мы не сказали друг другу, а просто тихо вошли в тихий подъезд, сели на подоконник между этажами и начали целоваться, нежно-нежно, как будто мы и не прекращали танцевать на нашем Новогоднем подоконнике. О чем тут было говорить, когда без слов было понятно намного лучше. Но при расставании я все-таки ждал какие-то слова, хотя бы

о новой встрече, но Таня молчала, и тень полуночного принца мелькнула предо мной в ее молчании, и я тоже ни словом не обмолвился о чем-нибудь наперед.

Два следующих дня у меня никак не получалось встретить Таню, как бы случайно, хотя я и ходил исключительно там, где она вероятней всего могла появиться. И вот на третий день наконец встретил, вместе с подружкой, моей соседкой этажом ниже, к кому, кстати, Таня и пошла тогда, после нашего бального утра. Они, как тут же выяснилось, шли к Тане домой. Я по-свойски пристроился к ним, будто бы проводить их. Но мы не прошли и половину пути, как хлынул ливень, настоящий, библейский, когда разверзаются хляби небесные. Мы побежали к Тане, к ее одноэтажному деревянному многоквартирному дому, где она жила вместе с матерью, которая в тот час была на работе.

Мы, ошалелые, вынырнули из потопа и стояли в дощатой передней, заливая ее стекавшей с нас водой. Это было что-то небывалое. Мы с Таней вбежали на кухню, где она сдернула с веревки большое махровое полотенце, набросила мне, закрыв и лицо, на голову, точно спасительный покров от коварной простуды, и начала, неистово растирая, сушить мои длинные волосы, как будто ей немедленно нужно было убедиться, что они не искусственные, а каждый волос мой, настоящий. Я смиренно стоял, весь в ее власти и, по-детски млея, хотел только одного – чтобы потоп никогда не кончался. А Таня вдруг открыла мое лицо и в припадке безумной нежности покрыла его поцелуями, как лицо собственного дитяти, которого она только что спасла от верной смерти. И ведь я действительно чуть не умер – от никогда не испытанного блаженства. И все это без слов – только руки, глаза и губы... руки... глаза... губы...

Я так и не сказал Тане: «Я люблю тебя». Видимо, вино любви во мне тогда еще не забродило, чтобы по-мужски развязать мой язык. А безмолвно блаженствующий мальчик, видимо, не удовлетворял жизненных амбиций Тани. И после потопа, который я не смог остановить, как останавливают, будто бы, прекрасное мгновенье, жизнь каждого из нас потекла своим руслом, и мы боле не встречались. И только по прошествии лет, когда я уже стал мужчиной, самцом, что не представляет себе жизни без женщин, но при этом каждый Новый год, как мальчик, ждет чуда, меня как-то в один прекрасный день внезапно пронзило понимание того, что Таня и есть моя первая любовь, чистая, нежная, неприкосновенная до боли, как ожог на всю жизнь.

И все-таки мне суждено было объясниться с ней, через тринадцать лет после школы – столько я не видел ее. К тому времени я уже слышал, что ее жизнь не задалась, даже и во втором браке; еще о смерти ребенка, а еще как-то мне доверительным шепотом (потому что тогда по-другому об этом и не говорили) сказали о ней в связи с наркотиками, но ни разу никаких подробностей я не касался.

Встреча наша произошла в конце июня. Я случайно встретил самую высокую в нашем уже далеком десятом «б» девушку, и с ней была какая-то неприметная худая женщина, на которую я даже не глянул, а только так, боковым зрением. Мы стояли с высокой одноклассницей разговаривали, и я вспомнил Таню, так, без всякого чувства, просто памятуя о том, что у них с Таней были достаточно теплые отношения.

– Да вот же она, – удивившись на меня, оглянулась высокая одноклассница назад к своей спутнице – я перевел глаза – глаза мальчика, что помнили ни в огне не горящую, ни в воде не тонущую Афродиту.

Женщина-Таня, неловко прикрыв беззубый рот, сказала что-то о родах и о выпавших зубах, которые она скоро обновит. Мальчик встретил свое чудо и онемел от кома в горле.

– А я смотрю, вы молчите – думала, так и надо, – как ни в чем не бывало продолжала высокая одноклассница.

– Как же я могу молчать, ведь Таня моя первая любовь, – проговорил я, отвечая высокой однокласснице, а глядя на страшную Таню, но подбадривая не столько ее, может быть, сколько готового расплакаться мальчика.

– Ну, первая – это громко сказано, – как от иронии, отмахнулась Таня.

– Нет, – перебил я ее дрогнувшим голосом, что мне не верят, – я это не громко сказал – тихо.

Хотя на самом деле мне хотелось кричать – кричать, как мальчику, который враз лишился не только чуда невинности, но и невинности чуда.

3

Начиная эти «необязательные заметки никому не интересного человека о своей блистательной жизни», вернее, в моем случае, не о всей жизни, а лишь о той ее части, что связана со школой, а именно со школьными романами, я думал не о том, куда уходит детство, а с высоты прожитых лет хотел проследить, как развиваются и завершаются те невыдуманные истории – переливает ли жизнь из пустого в порожнее, лишь невинно кружа нам голову, или все-таки по-настоящему топит нас в бездне своего совсем не невинного смысла?..

Через тридцать лет, точнее, ровно через тридцать осеней после того незабываемого Есенинского вечера я случайно встретил Наташу. Мы не виделись со студенческих времен, когда еще была очевидна лунная удаленность моей Шаганэ. А тут четверть века разлуки вообще, казалось, должны были раскидать нас по разным концам вселенной человеческих чувств. Ан нет: одно то, как она окликнула меня и как я, еще не узнавая, оглянулся на ее зов, в мгновение ока сузило расстояние между нами до предела, как будто каждый из нас не просто вдруг сбросил груз прожитой жизни, но и немедля шагнул на открывшийся под грузом очарованный берег нашей юности.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!» – запела душа в голос, не таясь и не стесняясь, и Наташа слушала сказку о себе и, как принцесса на горошине, верила, что это правдивая история. Я мягко стелил, чтобы наше предполагаемое ложе напоминало брачное, и пусть всего лишь на одну ночь, но так, как будто на всю жизнь.

Наташа набила столько синяков на горошине супружеского непонимания, что мои надуманные пуховики и перины казались ей настоящими. У нее было все, включая взрослую дочь и школьника сына, не было только принца. А я уже давно не жил в родном городе, и приехал сюда из теплых краев по делам наследства, оставив в тоскующей дали любимых – жену и двоих деток. Но Наташе про тоскующую даль я промолчал, как и про «очи синие, бездонные», что цвели на дальнем берегу, цвели и ждали, а я молчал, и мне, очарованному, было легко молчать, потому что я с севера, что ли, как и ты, моя Шаганэ?!

И я раскатился таким принцем-горошком, что никакие пуховики и перины наших врозь прожитых жизней уже не могли спасти Наташу от синяков вдруг, точно с луны, свалившейся на нас страсти...

С той ночи прошло десять лет, и я ничего не знаю о моей Шаганэ, но лунный синяк нашего последнего свидания в моей душе до сих пор нежно болит и ноет при каждом прикосновении памяти.

А вот с Гулей мы никогда не смотрели на небо – я сам был для нее небожителем, что творит чудеса прямо на обыкновенном подоконнике, и нужна лишь замороженная ассистентка, чтобы повторить подсмотренный ею новогодний танец сказочных поцелуев. Вот так Гуля смотрела на меня, и об этом, в сущности, было ее письмо, которое я хранил, как Аладдин свою волшебную лампу. И стоило мне, не наяву даже, а лишь в воображении коснуться этого письма, как оттуда тут же воспарял под купол неба необъятный джин в моем образе и подобии, пугая меня же самого своей вседозволенной властью над Гулей. Но моя невинность была сильнее

всемогущества джина и надежно защищала Гулю – и прежде всего – от самой себя, «царевны Ширази», в чьем неумном воображении и родился сей безумный джин, который не смотря ни на что рвался из фантазии в реальность.

Я, как мог, избегал встреч с Гулей, но письмо ее не выбрасывал, невольно подтверждая этим неизбежную власть джина не только над Гулей, но и надо мной. И все-таки он дождался своего дня, вернее, своей ночи, целых шесть лет ждал, чтобы наконец не просто вырваться из плена наших фантазий, а свободно соединить их в одну трепещущую реальность. Все было просто до примитивности: никакого подоконника, никаких танцев с поцелуями – только распахнутое ложе раскладного дивана и обескураженный джин над ним, точно его обманули – причем врозь, я отдельно, Гуля отдельно – обманули с этой реальностью, которая оказалась совсем не такой, какой виделась из волшебного конверта воображения. Нет невинности – нет всемогущества, – вот что было написано на разочарованной рожице джина. И я выбросил Гулино письмо, что столько лет дурило мне голову.

Мне было жаль не джина с его лопнувшим всемогуществом, а мальчика на новогоднем подоконнике, что поймал тогда перо жар-птицы, но Иван-царевичем так и не стал. А ведь он, то есть, я – конечно, я – столько воображал, что корона у меня на месте...

И спасла меня, как и всегда спасала, Валя, чьи чувства ко мне, как подснежники, только и ждали моего теплого взгляда. И наша весна тут же возвращалась, в какую бы стынь не послали ее перед этим, и не «послали» даже, а «послала» – первая Валина соперница, самая Первая... или все равно «послали», ведь я же был с Первой, а не с Валею, идиот?!.

Только Валя никогда не называла меня этим тайно возвышенным в русской классической литературе словом – у нее на такой случай было более приземленное «блядун», но зато уж звучало оно из Валиных уст несравнимо возвышенней, чем «идиот» от самого Достоевского.

Второй Валин муж оказался именно той каменной стеной, за которой мечтает жить каждая женщина, но Валя ради своего «б.», своего Первого «б.» из единственного 10-го «б.», могла подвинуть и не такую стену, причем «стена» не успевала ничего почувствовать. Зато я чувствовал – я чувствовал в этом ее по-двиге не просто подвиг, а всемогущество золотой рыбки, в чьей невинности нельзя сомневаться, как в подснежниках на сказочный Новый год!..

Валя, Валя! Прости меня, Валя – я не владыка морской – я давно уже утонул в «очах синих, бездонных», что цветут даже сквозь лед моих грехов.

Прости.

Бжик и джин

Однокашникам.

У Даля, в словаре, слово «бзыкь» (с твердым хвостом, по тогдашнему правописанию) определяет конкретно-временное болезненное физиологическое состояние рогатого скота, и в первую очередь, коровы.

А у Ожегова прописан уже окультуренный «бжик», точно слову не просто обрубил хвост, но и очеловечили, настолько, что это слово теперь имеет отношение уже и не к физиологии, а к психологии, тоже, понятно, болезненной, но только болезненной не в применении к самому данному человеку, а, наоборот, для всех его окружающих. Хвост хоть и обрубил, но рога-то остались.

1

Вот о психах с рогами я и хочу тебе рассказать.

Как будто бывают психи без рогов, можешь ты возразить. Да, конечно, я тоже таких не встречал. Более того, в далекой юности, когда поступал на театральный факультет института искусств, я был еще настолько наивен, что ни о психах, ни о рогах и не думал.

Наш новонабранный режиссерский курс явно отображал широту души своего руководителя, главного режиссера академического театра. Старший среди нас, зачисленный по возрасту студентом, как исключение, был уже состоявшимся актером и годился в отцы нашим младшим, вчерашним школьникам, тоже в общем-то зачисленным, как исключение, то есть, что называется, по благу. Но старшая среди женского состава была не просто исключением, а дважды исключением: и по невозможно-классической красоте лица, и по своей прежней работе – она была секретарем ректора нашего института. И тут можно добавить, что и декан театрального факультета, очаровательная женщина, тоже оказалась для нас не чужой – она была теткой, пусть и далекой, одного из наших младших.

Вот в такое исключительное общество я попал, да еще сам по итогам вступительных экзаменов показал исключительный результат. Так что, не могу ничего сказать о ректоре, но и декан, и руководитель смотрели на меня очень благосклонно, и я невольно сделался, или, вернее будет сказать, обстоятельства меня сделали, лидером, вокруг которого и закружилась начавшаяся жизнь курса.

Только исключения на этом не кончились.

К нам на курс восстановили исключенного из института за скандал с совращением своей однокурсницы студента – сына ушедшего на заслуженный отдых главного режиссера академического театра, чье место теперь и занимал наш руководитель.

Сын был род мелкого беса – он умел так рассыпаться перед тобой, что ты не мог не угодить в его «россыпь» и уже не чувствовал, как из угодника превращался в негодника, во всяком случае, в его глазах, и тут он, отрезвляюще шлепнув тебя по щеке, засыпал тебя с головой.

Правда, я начал засыпаться (засыпаться, как лидер) раньше, на этюдах – придумай и сыграй – о которых я и представления не имел до вступительных экзаменов в институт, а тут сразу надо было тягаться, ладно бы с сыном, а то ведь с самим отцом, старым мэтром, тоскующим в бездействии, чья однажды исполненная сыном фантазия на тему смерти и забвения так поразила нашего руководителя, что он тут же выразил свое восхищение напрямую сыну, как подлинному автору этюда.

Сейчас мне очевидно, что широкой душе сам акт катарсиса важнее личности его творца. Но тогда я, точно от удара, так сжался, что чувствовал только одно – это «подстава». И я

знал, что так чувствуют и остальные, хотя они, угодив в россыпь расчувствованности руководителя, и бросились наперегонки мелким бесом рассыпаться перед подставным кумиром. А я так и остался зажатым – душа-нараспашку захлопнула створки, как спасающийся моллюск.

Целый год я пролежал на дне, засыпанный песком невнимания. После летнего, в конце первого года обучения, экзамена по специальности одному из самых авторитетных педагогов кафедры даже показалось, что я проф. непригоден, только мой руководитель, видимо, помня свое первое впечатление от меня, не стал спешить расписываться в собственной ошибке. Но треть курса все равно была исключена, в основном, все вчерашние школьники. А из оставшихся, больше половины лежало, как и я, на дне. Зрелище было печальным. И чтобы раскрыть нас, руководитель взял себе помощника, своего ученика, в тот год закончившего учебу, который должен был быть постоянно с нами, в отличие от него самого, большую часть времени занятого делами театра.

2

В зимнюю сессию на втором курсе последний раз сдают этюды, только этюд должен быть уже не одиночным и не в собственном исполнении, а с несколькими действующими лицами, и самому в нем играть не надо, лишь ставить, как режиссер. Не играть в своем этюде – это значило для меня избавиться от муки слышать, как не просто вхолостую хлопают створки моей актерской беспомощности, а еще и вдобавок беспощадно захлопывают мои же режиссерские хлопки. И вот теперь, здесь, я наконец был волен превратить робкие хлопочки моей кажущейся проф. непригодности в бурные аплодисменты моим истинным режиссерским способностям – в бурные, переходящие в овацию. В общем обычные мечты моллюска, которым, возможно, так и суждено было остаться мечтами, если бы именно тогда впервые не выстрелил мой литературный дар. Вот это был хлопок, прямо во время первого показа нашему руководителю – он потрогал ухо, точно проверяя, на месте ли оно, и тут же взялся работать над моим этюдом, очищая незримый замок замысла от наносного песка.

Этюд назывался «Лом», в нем действовали три персонажа: бесприютная влюбленная пара и беспальный пианист. Начиналось с того, что в полном мраке слышался треск отдираемых досок и на пол с грохотом падало что-то тяжелое – лом, как вскоре видел зритель, при появившемся вместе с влюбленными героями свете свечи. Становилось ясно, что герой вскрыл заколоченное окно заброшенного, да еще и вместе с пианино, дома. В разгар праздника (а у пары с собой и вино, и магнитофон), гремя дверьми, являлся хозяин-пианист, от которого влюбленные успевали спрятаться и подсмотреть совсем иное свидание, когда истосковавшийся в безмолвии инструмент, даже под пальцами одной руки, выворачивал душу небесной музыкой воспоминаний. Как вдруг вырванный из кармана неожиданный протез второй руки бил по застонавшим клавишам и потрясенные влюбленные невольно выдавали себя. В итоге пианист, оставая, точно с неба свалившимся, влюбленным ключи от дома, как будто зримо возвращал своей, казалось бы, навсегда оглохшей, душе музыку. И зритель понимал, что окно уже не заколотят и что судьба заброшенного дома зазвучит по-новому.

Экзаменационный ареопаг кафедры не мог не увидеть руку Мастера в постановке моего этюда, но и его литературную основу чуткое ухо театральных авторитетов не пропустило мимо себя и отметило отдельно. И бес зажатости отпустил меня, и я всплыл, хотя еще и не раскрылся. Но и этого оказалось достаточно, чтобы проигравший бес увидел свой истинный размер и тихо исчез из института.

В летний экзамен второго года обучения мы сдавали поставленные отрывки из советских пьес. «У!» – дремуче ухнет при слове «советский» тот, кто думает, что имеет понятие о той драматургии. Он смотрит новейший фильм «Прошлым летом в Чулимске», со знаменитым актером, героя которого жизнь ломает, чтобы поставить в общий строй, и он, зритель, не просто переживает – он понимает, что это и его хотят заставить лгать, подделываться под сильных мира сего. И он, зритель, чувствует всю боль этой, как он думает, новейшей проблемы, и верит, что перетерпит. Но и я не хочу обманывать, хотя бы и молчанием, и не могу не сказать ему, что пьесе Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» – полвека. Нет уже ни тех сильных, ни того мира, лишь проблема осталась: лгать или не лгать?.. быть или не быть?.. И тогда, тридцать восемь лет тому назад, я думаю, как раз призрак Гамлета и заманил меня в дебри этой пьесы, где я, предоставленный сам себе, благополучно (или неблагополучно) и заблудился, вместе с счастливой еще с зимнего этюда тройцей моих однокурсников.

– У! – посмотрев наш отрывок, развел руками Мастер, как будто показывая, где Чулимск, а где Эльсинор – ни на какой тройке не доскачешь – полет нужен, полет!..

Я понимал, о чем говорит Мастер, ведь на моих глазах он превратил песчинку моего замысла в жемчужину целого курса, всего-то хлопнув, так же естественно, как птица крылами, створками своего таланта. Но как бы ни понимал я, мой моллюск (с ходу чуть не написал, талант) не спешил раскрываться: сколько не колупал я меж его сцепленными створками, оттуда выколупывались лишь случайные песчинки.

И все мои однокурсники тоже сидели, как и я, с детской серьезностью в песочнице режиссуры, и каждый строил свой малюсенький замок, где решал глобальную для себя проблему: быть или не быть в профессии?

3

К началу третьего года обучения нас осталось десять человек – меньше половины от изначально набранных.

Женский состав возглавляла наша круглая отличница и бессменный староста; но для меня первой была та, из моей счастливой тройцы, единственная, кого я приглашал в свои работы, как актрису;

и дальше шли – уже упомянутая бывшая секретарша ректора

и независимая сокурсница, которая на все имела свое отдельное мнение.

Мужской список открывал самый старший среди нас, уже состоявшийся (или не состоявшийся) актер из театра Мастера;

за ним шел также актер, но из кукольного театра;

следующим, не только не уступая, но и превосходя вышеназванных профессионалов, был самородок из глубинного райцентра;

и наконец – еще двое из моей тройцы: самый младший на курсе, но зато племянник деканши,

и мой друг, мой оруженосец, кто носился со мной все годы учебы – Санчо Пансо моих несносных идей.

Первая ветряная мельница, которую мы с ним взяли, сами взяли, самостоятельно, ну, и Дульсинею, разумеется, вместе с нами считая, была из современного зарубежного материала – бродвейский автор Нил Саймон «Заклученный Второй авеню» (Вторая авеню – улица в Нью-Йорке). Я уже писал о пьесе и поставленном мной отрывке из нее.⁸

⁸ См. главу «Чудотворец и кукловоды».

Супружеская пара попадает в чрезвычайные обстоятельства: денег нет, работы нет, а тут еще и квартиру обокрали. И на сцене пусто, все дочиста вынесли, лишь валяется жалкий шнур, как будто нарочно забытый, но на нем даже повеситься нельзя, да слышится, как хрустит под ногами супругов песок, в который перемолоты теперь кости их благосостояния.

И стоит моя пара перед этой незримой мельницей несчастий, что победно машет крыльями, и от беспомощности и унижения не знает, куда спрятать глаза? Ни актеры не знают, ни их герои, и я сам хожу у не высокой сцены учебного театра и хрещу песком бесполезно перемолотых мыслей. Но Дон Кихот и в голову не приходит, забыт, как бесстрашный, но псих, как гибельный бжик, за который не только обрубят хвост, но и рога обломают... И вдруг толчок, и вдруг лечу – лечу, «как пух от уст Эола» – и мысль летит: «А вот Ромео и Джульетта, оказавшись перед чудищем, что бы делали? – куда бы прятали глаза?». А никуда бы не прятали: как смотрели друг на друга, так бы и смотрели, – они ту мельницу и не заметили бы. Да они и не заметили: у них украли самое дорогое – их жизни, а им все нипочем, хоть бы что, – невозможно, милая моя, обокрасть рай, да еще в шалаше объятий!..

И мои Санчо Пансо с Дульсинеей настолько вжились в роли Ромео и Джульетты, с такой испанской искренностью и американской наивностью, что смотреть на них без улыбки было невозможно, не срываясь при этом то и дело ни просто в смех, а в неудержимый хохот. И я его, этого хохота, наслушался, и во время отдельного показа моего отрывка, и за время общих прогонов, ну, и, само собой разумеется, на экзамене (летнем экзамене, завершающем третий год обучения), когда я, сидя в будочке за звукорежиссера, у задней стены зрительного зала учебного театра, за спиной авторитетов кафедры, чей экзаменационный сходняк мог опустить любого из нас, так вот я не только слышал – я собственными глазами видел, как авторитеты, побросав волыны суровости и обезоруживающе хохоча, валились в своих креслах замертво, как только на сцене в очередной раз выстреливала моя режиссерская палка, которая по ходу действия становилась то копьем Дон Кихота, то кинжалом Ромео, то райским змием, то райским яблоком.

В общем, в шалаше моего замысла всем был рай, и аж до того, что одному из дружков курса привиделся там сам Бог в моем лице – во всяком случае, именно так, лишившись дара речи, вытаращился дружок на меня вмиг ослепленными глазами, лишь только услышал мой ответ, стоя рядом со мной за кулисами во время прогона и глядя на сцену, ответ на свой неоднократный, с припрыгиванием, возглас: «Чей это отрывок?! Чей отрывок?! Да чей это отрывок?!» Боже!.. да у него даже палка стреляет!..

Но, если вернуться к зиме, когда я только выбрал отрывок, никакая стрельба мне и не грезилась. И исполнители были другие: я пригласил самых старших среди нас – бывшего актера академического театра и бывшую секретаршу ректора – как наиболее подходящих для роли обмолотых жерновами судьбы.

Краткость, в данном случае, отрывка, как сестра таланта, бесталанному не дастся. Но той зимой я этого еще не знал. Я начал с помощью актеров, пока за столом, используя только их голос и воображение, строить свой Нью-Йорк. Мы прочитали текст, стали разбирать его, чтобы потом снова собрать, как строительные леса, и уже непосредственно приступить к самой стройке. Однако после первой же застольной репетиции у меня возникло ощущение, что я все делаю, как будто из-под палки, и пусть это палка Станиславского и нашего Мастера, и пусть она в их руках превращается в волшебную палочку, но на моей бездарной спине это все равно палка для битья, что загонит меня обратно в непроходимые дебри Чулимска. Но только на сей раз не страх нагнали на меня эти незримые удары, а наоборот, радость, потому что я почувствовал, что бьют меня уже не по голой спине, а по створкам моего вызревающего таланта. И я вдруг увидел Нью-Йорк, как город мира, как пуп Земли, и стоит там сестра Нила Саймона,

моего талантливого автора и друга, и тут я чувствую, впервые, небывало, как собственная палка встала во мне и уперлась в пупок сестры – как после такого она могла не отдаться мне?!

Я понял, что танец живота моего замысла «старикам» не станцевать – пупок развяжется. И прямо на следующий день я отказал им – бросил, каюсь, их актерскую беззащитность под режиссерские жернова, при этом оправдываясь перед ними тем, что спасую их живот, хотя, на самом деле, спасал свой собственный.

Да и собственный-то живот режиссер спасает, демонстрируя лишь чужие пупки. И, невзирая на то что он, режиссер, пуп театра, в одиночку он – никто, даже не командир без солдат – тот сам хоть отстреливаться может, а палка режиссера в одиночку не стреляет. Ну да это более поздние мысли, а тогда я приставил свой только что прочувствованный режиссерский инструмент к актерским пупкам моих Санчо Пансо и Дульсинеи, приставил, как приставил бы свое копьё Дон Кихот, спаситель человеков, и мы двинули брать нашу первую ветряную мельницу. И какое это было зрелище, я уже описал.

Одни мои старые исполнители во все время прогонов игнорировали просмотр отрывка, что предал их. Но, видимо, аура «предателя» была так притягательна, что на экзамене «стариками» предали самих себя. И, как только педагоги ушли обсуждать все увиденное, наш самый старший, мой несостоявшийся «заключенный», придерживая одной рукой живот, точно у него от хохота, в самом деле, развязался пупок, подошел ко мне, глядя на меня уже знакомым мне ослепленным взором, и с чувством проговорил: «Я и представить не мог, что можно так!» – точь-в-точь коленопреклоненным Ромео перед чарами Джульетты.

Створки раскрылись – жемчуг выпал на подставленную ладонь судьбы – летай, дорогой, все полеты оплачены!

В то лето отрывок игрался вместе со сборным концертом, куда он был включен, несколько раз и в разных залах, то есть был представлен, что называется, широкой публике, и каждый раз с неизменным успехом, как и положено жемчугоносной сестре.

К тому времени я уже понял, что поставить не один лишь отрывок, а всю пьесу, что строится из таких вот отрывков, это все равно, что раздать всем сестрам по серьгам, по жемчужным, разумеется, серьгам, раз уж я действительно захлопал створками таланта, как птица крылами.

Не могу закончить эту часть моей исповеди, не упомянув еще одного весьма примечательного факта.

Спустя три-четыре года после того волшебного лета, я увидел телеверсию спектакля по пьесе Нила Саймона «Заключенный Второй авеню» в постановке известного театра. Супружескую пару на сцене играла супружеская же пара и в жизни: оба, благодаря кино, были популярны, а она, жена, так вообще была настоящей звездой тогдашнего советского экрана. Я смотрел в экран телевизора и не узнавал своего американского автора, ставшего мне больше, чем другом. На сцене был не Нью-Йорк, а мой второкурсной Чулимск, где одиноко бродила режиссерская палка, не замечаемая заблудившимися актерами.

Потом, через много лет, судьба свела меня с этим театром, но до сцены добраться мне все равно не дали – «отстрелили» еще на подступах, не дав в ответ сделать ни выстрела.

На третьем курсе, помимо наших индивидуальных работ, был еще общий спектакль, поставленный Мастером с нами, как с актерами. Пьеса, первая из двух, положенных по программе обучения, была советская, то есть современная, ставшая известной благодаря, не столько сакральному названию «Святая святых», сколько своим печальным откровениям, болезненно неприятным для тогдашней бодрящейся власти и из-за которых большинство теат-

ров страны, включая и театры нашего города, не могли добиться разрешения на постановку. Но на учебные театры власть, если и смотрела, то сквозь пальцы.

Наш Мастер, конечно, думал о шпильках, которые он вставит во власть имущие задницы, но только теперь, когда я уже знаю все печальные перипетии его безвременно оборвавшейся жизни, я уверен, что думал он в первую очередь не о шпильках в заднице, а о занозе в сердце – в собственном сердце. Он ставил спектакль о себе: он выбрал эту пьесу, потому что ее боль выражала его боль. Герой делает блестящую карьеру, то есть он побеждает во внешней жизни, а вот самого себя победить не может – для этого надо простить падшую. Но чтобы простить, надо понять, а понимания нет: боль от ее падения вызывает в нем жалость не к ней, а к самому себе. И в бессилии себялюбия он не может ни простить, чтобы вернуть ее, ни забыть, чтобы полюбить другую, – так и мучается, сделав несчастными по жизни и ее, и себя, а добытая им высота по службе оказывается в итоге, лишь как шпилька в собственную задницу – все равно болит не там.

Героя играл мой Санчо Пансо; падшую – наша отличница, и друга героя, который, пока герой делает карьеру, всю жизнь пасет овец и безответно любит падшую, так вот его играл наш самородок. И остальные получили роли – Дульсинея так вообще играла мальчика, сына падшей.

Но самую свободную роль дали мне – Мастер назначил меня своим ассистентом. И весь первый семестр, когда у каждого из нас не было своего отдельного постановочного отрывка, вплоть до зимнего экзамена, когда мы сдавали первую часть нашего спектакля, я просидел рядом с Мастером, ловя каждый взмах его волшебной палочки и собирая жемчуга его режиссерских находок. И я не просто богател в это время, а случалось, порой даже и предугадывал, куда полетит чудо-палочка, и мысленно уже ловил еще не рожденный жемчуг. А посмотреть со стороны – сидит главный бездельник курса.

Ну, а дальше ты уже знаешь – была сестра Нила Саймона, и дружба с ним самим, и не важно, что всего лишь в шалаше воображения. Важно, что в том раю, рядом с Автором и Мастером, я почувствовал себя равным.

В четвертый курс я въезжал на коне – на коне успеха и признания.

А Мастер уже приготовил нам вторую пьесу, на сей раз из мировой классики – «Жорж Данден, или Одураченный муж» – авторство Мольера. И снова тема женской неверности, тема предательства, что въезжает в крепость нашей жизни на троянском коне – коне, которого мы сами делаем священным, чтобы поклоняться ему. И когда изменник (изменница) сжигает, как Троя, наше обманутое чувство, Гомер слепой души нашей не дает остыть головешкам былой святости, что жгут и жгут прозревшую душу. И, чтобы скрыть ожоги, Мольер смеется, и Мастер вслед за ним смеется – пусть видят неверные кобылы, как ржут над ними и над самими собой одураченные ими жеребцы.

А тут я на коне, как будто бы еще и не освященный, но уже окруженный поклонниками и поклонницами, – Мастер с ходу и дал мне роль троянского коня в образе безденежного прощельги маркиза, что соблазняет такую же, как он сам, обнищавшую дворянку, но зато жену очень богатого крестьянина, что верхом на своем богатстве рвется в свет дворянства, где в итоге получает не просто шпильку в задницу, но укол в самое сердце.

А ведущая пара и в нашем втором курсовом спектакле осталась неизменной: богача крестьянина играл мой Санчо Пансо, а его неверную жену – наша верная отличница. Это было их звездное время. А ведь известно, что «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно», да и не «кому-нибудь», а, прежде всего, это было нужно Мастеру и нам, его курсу, очень было нужно, чтобы над нами сияла хотя бы одна звезда, тем более что Мастеру зажечь звезду было раз плюнуть. И эти расплунутые по темной бездне театрального небосвода жемчужины манили взор, влекли мечты и звали с высоты. Это было НАШЕ звездное время – каждый поймал свою

жемчужину, и, казалось, полету не будет конца: это другим не повезло – это им плюнули в душу и загасили искру таланта, а с нами такого быть не может – и звезды тому порукой!..

И пусть потом беззвездная судьба врет и плюет по-своему – ей не достать ни до звездного неба надо мной, ни до жемчужины таланта во мне.

А еще я помню нежность Санчо Пансо, с какой он относился к своей партнерше – нашей строгой старосте, нашей трудолюбивой отличнице. Он уступал ей в жизненной хватке, но на сцене они были равны – актерская жемчужина каждого из них переливалась одинаково радужно. И казалось, небосвод не опустит их.

В зимнюю сессию мы с блеском сдали наш спектакль по Мольеру.

И к летнему экзамену по специальности каждый из нас должен был поставить отрывок из русского классического репертуара – это был заключительный, считай, самый главный, экзамен в нашем обучении перед уходом на самостоятельную работу над дипломными спектаклями.

5

Мой застоявшийся конь режиссуры рвался в бой, подобно Буцефалу Александра Македонского. Да – «пришел, увидел, победил» – именно так я и представлял себе поход по полю русской классической драматургии, где, казалось, мне был уже знаком каждый цветок и колосок и были сосчитаны все ямы и ухабы. Меня распирало от чувства собственного профессионального всемогущества, и не терпелось продемонстрировать его в виде одной голой режиссуры, лишь из уважения к классике прикрытой фиговым листочком минимума текста.

И я выбрал малюсенькую сценку из «Ревизора» Гоголя⁹, где унтер-офицерша жалуется изумившемуся Хлестакову, что ее по ошибке высекли, и просит, чтобы повелели городничему заплатить ей штраф – «штрафт», как она сама выражается. «Хорошо, хорошо... я распоряжусь», – выпроваживает ее «всемогущий» Хлестаков. На эту роль у меня был отменный актер – мой звездный, мой жемчужный Санчо Пансо, а на роль унтер-офицерши я выбрал нашего бывшего актера-кукольника, – у меня уже слюнки текли, чтобы начать их раздевать: уж если голая – так голая, в смысле, режиссура.

Я удивил нашего второго Педагога, помощника Мастера, когда сообщил ему, какой отрывок я собираюсь ставить. Мне было приятно его удивить, потому что я видел, что он уже признал меня профессионалом, и даже больше, и поэтому с тех пор не все мои неожиданности его так поражали, как раньше, когда я числился по его рейтингу еще учеником. Но только это было не просто удивление – там сквозила уже и заинтригованность конечным результатом, и даже предвкушение театральным гурманом удовольствия от непременно небывалого блюда.

– А Товстоногов в своем спектакле эту сцену вообще пропустил, – вдруг проговорил Педагог, точно добавляя еще большего перца в воображаемое блюдо – я аж поперхнулся. Я еще только мечтал «прийти – и победить», а Товстоногов, почитаемый и Мастером, уже был Гуру театра. По весовым категориям рядом с этим слоном я даже на моську не тянул, а тут вошедший во вкус Педагог всем своим видом признавал, что ради гурманов я облаю хоть гуру. Если действительно это была признательность, то какая-то собачья.

И вообще основная линия моих отношений со вторым Педагогом проходила через нашу звездную пару. Мы оба, вслед за Мастером, не жалели слюны вдохновения, чтобы крепче прилепить их жемчужины на актерском небосводе. Я больше работал с моим Санчо Пансо, и только немного с нашей отличницей, пока лишь ставили первый курсовой спектакль, где я был ассистентом Мастера. И Педагог, и я, мы бывали строги с нашими подопечными, порой

⁹ См. гл. «Танцы с Гоголем».

и очень строги, но только все равно преобладающим чувством была нежность – нежность расцветшей яблони, молочно-белой, как млечный путь на небе – путь от жемчужины таланта в себе к звездному небу надо всеми.

Взлететь, а не влететь: тут главное – сохранить невинность души, ведь звездность, как оселок, ломает и стальные нервы, что уж говорить о том, что слеплено на соплях неопытности.

– Что ты расплевался тут?! – как-то, еще в пору репетиций Мольера, брызжа слюной, Педагог закричал на меня, маркиза на сцене.

– За своими плевками следи! – точно на лету отщелкнул я обратно его слюну ему прямо в лицо.

Педагог онемел, как будто право укола в этом мгновенном поединке было только у него.

– Подлец, – выдавил он дрогнувшим голосом, и удалился, как удаляется зализывать рану побитая собака с поджатым хвостом.

А мы остались в учебном театре на самих себя. Собственно причиной этой собачьей схватки была звездная пара, где у Педагога был свой фаворит, а у меня – свой. В какой-то момент, как это порой случается по ходу репетиции, у наших фаворитов потекли слюнки звездности, но только мой Санчо Пансо стал сглатывать их – я не выдержал и плюнул за него. Я вовсе не метил в Педагога – он сам подставился. Моя слюна оказалась крепче, и все это видели. В общем в этой борьбе самолюбий, где каждый по-своему болел за дело, не могло быть, да и не было ни победителя, ни побежденного, и никто по этому поводу не стал распускать слюни.

Прошло месяца три после той печально-памятной репетиции. К этому времени я выбрал микроотрывок с унтер-офицершей и сказал Педагогу, что буду ставить его, и в ответ услышал о Товстоногове, чьи постановки Педагог, пока находился на творческом семинаре в тогдашнем Ленинграде, вкушал вживе. А я, знавший спектакли Гуру только по телеверсиям, да и то «Ревизора» среди них еще не было, смотрел на Педагога, не просто как на гурмана, а как на гурумана – человека от Гуру. И, в этом смысле, я чувствовал, что я перед ним подлец, пусть и слепленный на соплях болезни, называемой звездной, но подлец. Но зато тут же пришло и понимание того, что свою собачью задачу обляять, хоть и не самого Гуру, но все равно ЕГО человека, я уже выполнил, еще тогда, три месяца тому назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.